



*Пережить
настоящее*

*Иоланта
Сержантова*

16.11.2025 20:10

Иоланта Сержантова
Пережить настоящее

«Автор»

2025

Сержантова И. А.

Пережить настоящее / И. А. Сержантова — «Автор», 2025

ISBN 978-5-00279-001-2

Сборник рассказов, новелл и эссе. Хотим мы того или нет, осознаём или нет, но каждый из нас - островок Родины. Нам нет нужды бить себя в грудь и размахивать флагами, чтобы понимать, кто мы такие и откуда, ибо Родина, она как воздух, и нам делается тяжело, когда её не достаёт. Родина. Мы дышим ею, ею вдохновлены, именно она причина нашей привязанности к месту, где родился, к людям, которые рядом и к тем, которых уже нет. Рекомендуется для внеклассного чтения.

ISBN 978-5-00279-001-2

© Сержантова И. А., 2025

© Автор, 2025

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Чубы кустов трещат... | 5 |
| Прошу любить и жаловать! | 6 |
| Неведомое городским | 7 |
| Горечь любви | 8 |
| За просто так | 9 |
| Без жалости | 10 |
| Утолить смятение души | 11 |
| Про что-нибудь... | 12 |
| Так | 13 |
| Кружево бытия | 14 |
| Горе | 15 |
| Под вой сирен | 16 |
| Поздний ребёнок | 17 |
| Знаки судьбы | 19 |
| Жабы | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 21 |

Иоланта Сержантова

Пережить настоящее

Чубы кустов трещат...

Чубы кустов трещат под испуганным бегом оленей. Грибники, будь они неладны, причина их поспешности. Те зреют по всё лето в тесноте квартир, а по осени высыпаются, заполняя собой всё прилесье, каждую просеку. Топчут сапожищами поляны и тропки, пугают зверьё и вызывают недовольство местных жителей, устраивая пикники и отхожее место прямо под окнами.

Грибники пачкают траву, очищают выпачканные ладони о кору, оставляя после себя метки, из-за которых морщат носы лисы и фыркают с негодованием даже кабаны, чей мускус духовит и узнаваем, но привычен лесу, не чужд, как те запахи, что приносят с собой пришлые.

Грибник – это почти бранное слово. Присвоенное чужаку, оно привносит в размеренный уклад удалённой от города жизни. Хозяйева кидаются отыскивать позабытые с прошлого года замки на сарайки и садовые калитки, да, разбуженные неоднажды спозаранку топотом чужих ног в сених, запирают на ночь двери в дом.

Скорые заморозки – единственная надежда на то, что долго ещё не понадобится смазывать постным маслом щеколды. А прядущий ушами олень не вздрогнет, не повернёт головы, не убежит, не помня себя, высоко подкидывая обтянутый белыми подштанниками круп, а останется стоять, где стоял, выдавая своё расположение сморщенной над лопаткой кожей и спокойным взглядом в твою сторону. И нет нужды, что придётся чаще топить печь, – всё лучше, нежели спросонок увидеть перед собой чужое небритое лицо:

- Где?! – будет взysкивать оно, исторгая утреннее несвежее дыхание.
- Что?!
- Где тут у вас грибы!???
- ... И вновь затрещат чубы кустов...

Прошу любить и жаловать!

– И-таки, осень, господа!

Сбросив с себя бремя плодородия, округа занялась, наконец, любимым делом. Это только со стороны кажется, что она основательна и здравствует для одних лишь возделываний и прочей от себя выгоды. В самом деле округа ветрена, проста и легка на подъём, да только сердечность, вкупе с сопереживанием прочим мешают ей бросить всё к..., и...

Скованная ли зимними морозами, сдержанная весенней хлябью и буйством, либо ослабленная томлением летнего зноя, к осени округа вполне уже принадлежит себе и принимается за любимое, важное только ей.

Округа не повитуха по сути, не нянька, но пиит, рисовальщица, и только не желающий ей добра и покоя откажет в признании истинности сих обстоятельств ея натуры.

Умывшись наскоро росой, она всякий день у мольберта. Туман от неё офорт, ненастье – набросок карандашом, солнечный день – весь в красках с нимба солнца над головой до выпачканных в земле пят. Тут уж она и акварелью, и масляными, и гуашью... Всем, чем попадёт под лёгкую скорую руку. Ибо и писать надобно наскоро, так поспешно меняется облик того и тех, кто перед нею.

Нравственное начало осени в том, чтобы жить тем, что теперь, в эту самую минуту, потому как никто никому не поручится за наступление не то завтра, но грядущего часа.

Верно, зыбкая прелесть осени, словно напоминание о бренности, чарует и дарует утончённой прелестью, вне которой не проникнуться важностию каждого мгновения бытия.

Пусть хотя так, хотя этим, но будет дан знак или знание. Да не в назидание, не в укор, но редким умением перенять верное, и, будто постигнутое тобой самим, оно милее, понятнее от того.

Встречайте, господа, прошу любить и жаловать – осень!

Неведомое городским

Когда из праздничной иллюминации на Рождество видишь только гирлянду проходящего мимо скорого в ночи и над головой – мелкие лампочки созвездий, на жизнь смотришь совершенно не так, как представляет её житель города, который полагает, что «творог добывается из вареников»¹, тропинки выгаптываются в снегу сами собой, а уличный сор весь во власти ветра и сам складывается в мусорные корзины. Впрочем, время от времени двор навещает смешной в своей неповоротливости мусоровоз, трудится большим навозным жуком подле той, собранной ветром кучи. Разумеется, не по делу, но дабы повеселить дворовую ребятню и позлить нянечек, что оттаскивают неслухов подальше от сего грязного, неприличного по их мнению зрелища.

– А нет бы подвести сии молодые ноготки чуть ближе, для уразумения – что откуда берётся и куда девается, познакомить с дворником, который не под руку с ветром но с метлой в руках, спозаранку. Глядишь, сложились бы их жизни как-то иначе. Добрее, что ли, к миру, были бы они, ну и – само собой – к другим в миру, а наперёд всего и к себе.

Коли не сбережёшь семоё себя смолоду, ничего путного из тебя и не выйдет.

– Это как же это, себя беречь? В темноте сидеть, бланманже кушать и форточек не открывать?

– Думать над каждым своим шагом: куда ступаешь и зачем, что после тебя сделается, что останется, как скоро позабудут о тебе и чем вспомнят. Ежели вспомнят, само собой.

– Так пока будешь раздумывать, все пути будут пройдены, вытопчут, да не тобой, ну и сама жизнь позади. Поспешать надо, не мешкать, поперёк прочих первым быть в том, что для себя приметил. Иначе-то как?

– Заладил – как да как... Вот иначе и надобно. У каждого – своя дорожка. Пересечься с кем, это случается, не без того, сотоварищи нужны, это хорошо, но чтобы на чужую тропу вступить, чужою жизнью и проживёшь.

– Ох, путано вы, дяденька, рассуждаете. Мудрёно!

– Ну, а коли мудрёно тебе, бери-ка ты, милый, совок в руки, да вычисти печь, как следует. Давно нечищена, пока терпит, входит в нашу праздность, а на днях уж и дымить станет. Это городским неведомо, что откуда берётся, а нам, лесным жителям, всё, как на ладони: вода из колодца, тепло от печи.

Когда из праздничной иллюминации видишь только гирлянду проходящего мимо скорого в ночи и над головой – мелкие лампочки созвездий, на жизнь смотришь совершенно не так, иначе. Видна её изнанка, все узелки. Хорошо это или плохо? Да так уж выпало: кому что видно, а которому какое повидать.

Горечь любви

Каждое новое осеннее утро округа будто после стрига² – немного непохожа на себя прежнюю и непривычна себе более, нежели прочим.

Приличная проседь трав гладко зачёсана набок, травинка к травинке, волосок к волоску. Протор тропинки слегка влажен, и розоватый, тёплый на взгляд от косога рассветного луча, побуждает прикоснуться, вдохнуть вкусный запах жизни. Так тянет ощутить сладкий аромат затылка ребёнка, что не пивал ещё ничего, кроме молока матери, как и земля ранней осенью, до дождей – ничего, кроме росы.

Поверх кленовых листов, повсюду – набросанный ветром пепел лета. На пару с ночным морозцем рассуждали они после первой росы, как водится промеж мужиками: сперва о друзьях, после о недругах, а засим – про того, кто больше горой за округу. Да и чья она, из конца в конец и в конце концов!

Неловко бритый по утерянной за лето привычке, пригорок порывался вмешаться. Но третий – повсегда лишний, да часто и вовсе оборачивается лихом. Двое дерутся – третий не мешайся, окажешься виноват, вот и молчит пригорок, скрипит белыми зубами корней травы, мнёт землю, мешая её с песком.

Нет-нет и выползет какая букашка из той тесноты, почнёт искать другое место, поспокойнее, добредёт до ближайшего пня, да там уж, из последних сил завернётся в жёсткую циновку коры и уснёт, шепча про неугомонных, слабых в науках, крепких задним умом... Но всё, впрочем, без злобы, не досадуя, а как бы даже сокрушаясь об спорщиках, как о малых детях.

А где уж тот жук набрался уму-разуму, как не у того же самого ветра, где везде бывал и всё видал.

В глянце красных щёк калины отражается небо, и неясный тот ясный лик, изливаясь по капле на каждую ягодку, питает затаённую горечь любви к своей земле, к которой приникает, рано или поздно всяк живущий. И ничего не поделать с тем, кроме как любоваться ею, пока и сколько дано.

За просто так

В юности я был горяч. Не то, что теперь. За другого вступлюсь, само собой, не задумаюсь, а за себя – рассужу много раз, стою ли собственного беспокойства. А в те годы... Насмерть поругался с дедом. Вычеркнул он меня из своей жизни, не простил.

Впрочем, коли задуматься, тогда я вступился не за себя, а за мать. За что и был по сути проклят.

А дело было так. За круглым бабушкиным столом собрались все, кроме неё. Год, который прошёл после того, как она однажды утром не проснулась, и он совершенно ясно показал – кто в нашей большой семье надежда и опора, кто её душа, вокруг кого кружатся планеты наших жизней, составляя звёздную систему, в центре которой тёплым солнышком тихо сияет бабушка. Маленькая, несуетливая, не суетная, обстоятельная, ловкие руки которой не знали отдыха. Ими она крутила котлеты, шила пальто и вязала салфетки, лепила пирожки, с лёгкостью двигала по комнате тяжеленные шкафы, подставив под низкие ножки мокрые тряпки, дабы перекрасить полы. Ко всему прочему бабушка была неисчерпаемый кладёз знаний, кои к месту выуживала из обширной памяти, и, – бриллиантом в диадеме достоинств, – заодно была знатной рисовальщицей.

Мир без бабушки сделался другим. Сколь бы ни было людей вокруг, оказалось они не способны заполнить пространство, некогда занятое бабушкой и её бесчисленными о нас хлопотами.

Год без неё не летел, он скрипел телегой, не попадая в колею Вечности, то и дело проваливаясь в рытвины и застревая на размытых слезами, скользких от того булыжниках. Поминальный по бабушке стол ломился от блюд, среди которых не было кушаний, сделанных бабушкиными руками, и от того гляделся нелепо.

Наполненные не бабушкой б а б у ш к и н ы тарелки чурались деликатесов и общества, торопились опустеть и, вымытые едва знакомыми руками, ждали минуты спрятаться, наконец, в стенной буфет ровными стопками, подальше от глаз, дабы горевать своё посудное горе вдали от людей, живущих своими заботами, непонятными даже им самим

Не вдаваясь в семейные дразги, скажу лишь, что вступился тогда за мать, вздорную и неумную женщину. Но... она-таки была мне матерью, и я счёл тогда и продолжаю думать так и нынче, не должна она была унижаться ни перед кем, даже перед своими братом, зятем и отцом просьбами чего-то там не делать. Хотя бы в моём присутствии.

Прав я был или нет? Не вмешайся я тогда в дела взрослых, жил бы спокойно в дедовой квартире, поминая его добрым словом. А так – мотаюсь всю жизнь по съёмным углам, но на деда, всё одно, зла не держу, только мучаюсь одним воспоминанием из прошлого.

Помню, как теперь: проезжаю мимо в вагоне трамвая, а дед стоит на пригорке придорожья... ожившим памятником. И летнее пальто ветром треплет ткань, хлещется пребольно, так казалось, о его худую фигуру. Мне до боли в сердце хотелось выскочить на ходу, срывая с себя повсегда цепкие руки кондуктора, кинуться к деду, прижать к себе крепко, сказать – как я его люблю... Но не посмел. О чём теперь сожалею всякий день, хотя случилось это всё уже почти более полувека тому назад.

В юности я был горяч, да. видно недостаточно. Иначе – вышел бы, не стерпел бы, не из корысти, но запросто, за просто так.

Без жалости

– Есть разница между «ухитриться» и «умудриться»?

– Ещё какая!

Автор

Время бежит вперёд... быстро-быстро. Не оглядываясь и не оставляет нам шанса. Так мать, что, опаздывая на службу, тащит дитяtko за руку, торопится поскорее довести его до яслей или няни.

У дитя не хватает сил даже на похныкать, губы съехали набок в беззвучном без слёз рыдании. Оно знает, сколь бесполезны мольбы остановиться, поправить надетые наоборот штанишки, подтянуть забившийся в сапожок чулок и заправить за курточку шарфик, что выпростал свой тканый язык набок из ворота и трясёт им, как запыхавшийся пёс, капая слюной за шиворот. Мать шагает так скоро, как может, позабывши про то, что не поспеть малышу за нею никак, не замечает она и того,, что надует ребяtkёнку душу на бегу, и к вечеру жар вынудит её звать на завтра доктора, да после, пересчитав монетки, бежать в аптеку, шепча, как заклинание «норсульфазол» и «горчишники».

У самой двери время поставит матери подножку порога, и заискивающим, виноватым, звонким от волнения голосом спросит она, чего вкусенького купить малышу. Но тому, с влажной постели, не надо ничего, кроме как, раскачиваясь на качелях лихорадки до дурноты, спать... спать... спать...

Сквозь сон его замутит от запаха накупленных матерью нехитрых лакомств, что заветрятся на табурете подле его изголовья, и ввечеру, с безразличным видом, «дабы не пропадало», будут съедены все без остатка уставшим после смены отцом.

Когда же в ответ на невольный в горячке стон сына отец прикрикнет недовольно: «Не ной, болей молча, дай выспаться, мне с утра на работу», и не понимая о чём, собственно, речь, махнёт рукою на жену, что примется стыдить мужа за бессердечие, тот, не найдя ничего лучшего, прикроет голову подушкой и тотчас захрапит.

Время бежит, а мы семеним подле, и даже если когда ухитряемся забежать вперёд, дабы заглянуть ему в глаза, увидеть, что в них, пытаюсь понять которое у него в ы р а ж е н и е и что на душе... Оно дёргает нас за руку: «Не отставай», и прибавляет шаг. Нам кажется или время в самом деле злится. Только вот на кого – на себя или на нас.

– Время жалит?

– Без жалости, как комар.

Утолить смятение души

Осеннее, на ватине облаков небо, в такт неясному откуда-то топоту, подпевало тонким, похожим на серебряный колокольчик, голоском. Не от того, что хорошо ему было или весело на душе, но – грелось оно эдак. Точно также птицы согревают себя пением под утро, заодно вырывают из морока предрассветного сна округу и вся, что причислено к ней: прохладную, в пудре пыли дорогу со следами ночной жизни и междупутем, – будто замятой подушкой щекой, да замершими, с обвисшими ветвями, словно ссутулившимися ненадолго деревьями, столпившимися у обочины. Чудится, – стоит отворотиться, как перебегут они ту дорогу и разойдутся, кто куда, оставив пригорок... подбородок придорожья, – на откуп молодой, зелёной во всех ипостасях поросли.

Тонкие пальцы трав тшчатся удержать горошины росы, гнуться под их невесомой, непомерной для себя тяжестью. Но как хороши они в этой своей натуге! Не напрасно возвеличена всякая по добру работа. Не токмо ради благ, но больше – блага ради, утолить смятение души.

Сквозь протёртый носок кроны проглядывает розовая пятка солнца. Чай не весна, не до штопки, обойдётся и так. К тому же – скроется солнышко со дня на неделю до марта, не к чему ему наряды, пересидит в своём тепле. А когда и выбраться ему, так ненадолго. Не успеет обморозиться, взбодриться только, вздрогнет и опять к печке.

Предпоследний день сентября занят чересчур, выкручивает стираную простынь облака. Несподручно ему в одиночку, но – как есть, не вызвался никто в помощники.

Невзирая на дождь, чуть выше по течению дня, купается в мелком пруду малиновка, окунаясь в истоме приятного озноба до прикрытых глаз, до гвоздика клюва, схожего с обойным. Промокшая насквозь, до серой кожи птица, перелетает на услужливо подставленную махровую ветку сосны, где, отряхнувшись ловко, оказывается вмиг почти совершенно суха. А сосна лишь сморщится в подобострастной улыбке, от брызг-с, по-лакейски почти, и только обождав, пока малиновка скроется в саду, вздохнёт свободно, отпуская на волю смолистый дух, что держала в себе до поры. Причуда приличия, не то – подобострастие.

Но небо... То долго ещё мёрзнет и вздраживает, вспоминая малиновое отчаянное купание. Ему так не суметь, как той птахе, оно и так ему зябко, на сквозняке.

Осеннее, на ватине облаков небо, в такт неясному с земли топоту, подпевало тонким, похожим на серебряный колокольчик, голоском. Не от того, что хорошо ему было, но – грелось оно эдак, как птица.

Про что-нибудь...

- Тебе лимонад или боржом?*
 - Воду, загаженную.*
 - Чем?!*
 - Пузырьками, чтобы в носу щекотало.*
- Автор*

Вишни в саду. Очарованные осенним полднем, поддавшись его страсти, неизбежно завожжённые им, покрылись они веснушками жёлтых листьев, – единственное, чем умели обратить на себя внимание.

И это невзирая на то, что пропадут, падут вот-вот те веснушки под ветра первым порывом. Тот холоден до надменности, и пускай его высокомерие не из корысти, не со зла, от большого сердца, от жалости ко всем, кого должен привлечь, приобнять, что ж с того. На него положить – как загодя в омут. Чуть листочек ослаб, тут же – долой его с черешка. Увлечёт его за собой ветер, лёгкую голову вскружит, полонит и бросит, будто наскучило ему то шуршание, похожее на срывающийся шёпот. Да так после отшвырнёт, что ударится впалой грудью оземь листва, отойдёт к тем – прочим, прежним. А вскоре вовсе оставит крону порожней, осиротит, обездолит. не в пример весне, пуше – лету.

Вишни в саду. Кажется, только что стояли наги, и поджимали озябшие пальчики босых ног в лужицах талого снега. И омывало их весенними грозами, и парило в туманах, и будто зубным детским скрежетом наполнялись тёмные, густые от запахов ночи хрустом раскрывающихся почек. Всё это было, кануло, и вот уж и опять – редуют просеки и аллеи, рдеют нагие рассветы. Закатам – тем оно и ничего всё одно в ночь, а утрам после стыдиться понавдоль целого дня.

Где тут набраться мочи стерпеть? Утолить чем? К чьей прижаться груди и чья рука прижмёт к себе сильнее, чем твоя боль...

Про утро ли то, про осень и вишни в саду, либо будто наше оно всё, похожее на людское, безмолвное, о котором плачут без слёз, рыдают в голос, да всё без толку, напрасно, впустую, зря...

Так

Листья на подоконнике поутру чуждаются обрывками чужих рукописей. Не потому, что чужды, но – писаны другой рукой, под диктовку сердца, что терзается всякими пустяками, до которых нет дела прочим, и по чести – никому.

– И ссыпались те горькие от слёз бумажки откуда-то сверху... Лепестками цветов, хлопьями сусального злата или и снежными.

– А если над тобой нет никого? Только пыльный чердак с голубями и усё! Пустота и простор!

– Заруби себе на носу – над тобой всегда кто-то есть. Даже если ты этого не видишь. Но знать, помнить – должен. И вести себя так, будто на тебя смотрят.

– Подглядывают?

– Приглядывают. С заботой. Взирают на твои промахи с состраданием, радуясь победам смеются беззвучно, дышат в затылок тепло и щекотно, когда ты счастлив или нежишься в волнах радости. Ты же чувствуешь? Хотя бы что!?

– Глупости это ваше всё. Живу и ладно, и на том спасибо.

– Ты невыносим.

– Да вынесут когда-нибудь вперёд ногами!

– Вот-вот. Не чтишь ты, не соблюдаешь, не щадишь. Шутишь всё...

– Да, я – такой, я весёлый!

– Весёлый, это когда другим подле тебя делается хорошо, а ежели недоумение одно от речей и поступков, тут уж не до веселья.

Сухие кленовые листья держатся до последнего, но стоит ступить на них, чихают потешно, разлетаясь в пыль. Про таких говорят – молодец, мол, не унывает. Да только сохнут они не запросто, а от невыплаканного своего горя. Держат его при себе, не отпускают долго, дабы других ненароком не замарать.

– Да помилуйте! Какое там у листьев может быть горе!

– Так у каждого оно своё.

– Может и так.

– Так.

Кружево бытия

Лоснятся алые щёки ягод калины, на взгляд – едва не лопаются от сытости. Манят, обманчивы. Предвкушая ощутить их первозданную горечь, вождедя об ней, мы полагаем умерить свою. Дабы притушить слегка огонёк сострадания тому и тем, чьих имён и званий не счесть. Диву даёшься – сколь обширна душа, что вмещает в себя их всех.

Лоза в инее, будто в пыли. Измятая рукой мороза её листва ещё помнит себя, но едва золотая стрелка рассвета черкнёт по циферблату неба, как сделается она ровно из папье-маше, чтобы, измявшись в тёплых руках дня, замереть в сумерках ровно на той минуте, за которой застанет округу вечерняя заря.

Перелистывая виды осенних закатов, утерев на время умение впечатляться от переизбытка восторгов яркими, до слёз из глаз нарядами, отдыхаешь, взирая на озябшую, истомлённую вконец крону... корону леса! – почти готовую уже, без мольбы и стенаний, запросто пасть разом к ногам осени.

Тут и сам подбираешься улиткой вовнутрь себя, примеряешь умозрительно – что надеть потеплее, чтобы отстраниться от холодных объятий утра, не уронив ни его, ни собственного звания, не принудив усомниться в искренности восхищения его достоинством и достоинствами.

Вышивая паутину иглой солнечного луча, путает утро кружево бытия. Тонко оно, деликатно, требует к себе бережения. Едва уловимые взглядом нити мгновений частью невидимы, будто сливаясь с небытием...

– Дорого оно, поди, то кружево?

– Бесценно! Да только часто ли дорожат тем, не имеющим известной цены...

– То-то и оно.

Горе

С горы и горе не горе, а так – пустяк.

Автор

Надкушенный морозом одуванчик недоумевал, сокрушаясь об своей внезапной ущербности. Вместо пышного хохолка над затылком зияла дыра, обнажившая беззащитное темечко, залысину, безнадежно состарившую его, превратившую вмиг из модника и щёголя в молодящегося старичка. Стебелёк оказался теперь более, чем кстати и походил на трость, нужную не для блезиру, но для банального – удержаться и не упасть, не обрушиться у всех на виду, растеряв последние волосья, тот седой пух, коим он гордился с конца лета и всё начало осени. Ну, понятное дело, не токмо он сам, тем же грешили и сотоварищи³, но всё же.

И только одуванчик вознамерился было впасть в расстройство из-за такой безделицы, как потеря пары локонов, как пробежавший мимо ветер взъерошил шутя рыжий чуб придорожья, а с нею и макушку пригорка, на которой обосновался цветок.

Надо ли говорить, что на бедовой голове одувана не осталось после ни единого волоска, а тем, зевакам, что оказались неподалёку, не оставалось ничего, кроме как сделать вид, что ничего не стряслось, и, упомянув из приличия капризы погоды, удалиться восвояси, оставив цветок наедине с его пустяшным горем.

Надкушенный морозом одуванчик недоумевал... То состояние нерешительности, вследствие неясности собственной будущности, удел не одних только цветов. Тем же грешат и прочие, среди которых мы вполне можем отыскать и себя.

Под вой сирен

- Да сыпьте вы, сыпьте, не отвлекайтесь!
- А сирена?!
- Да что она вам сдалась? Сбили наши вон там, всё хорошо. Наши молодцы.
- Молодцы...
- Успокойтесь вы уже, а то вон всю картошку мне рассыпали. Я с земли теперь не возьму, тут, понимаешь, блохи. Научены уже, потом их замучаешься из дому выдворять.
- Так в земле-то тоже...
- И в земле есть, понятное дело, куда ж без них, а тут собачьи, местные псы щедры на это дело, делятся.

Под вой сирен на рынок, в аптеку, в гости. Мы не то, чтобы привыкли к плохому, мы – залог того, что хорошее не делось никуда, что наши там не зря. Наши, – НАШИ!– которые поперёк вселенского зла, нам теперь все до единого родня, и мы про них с тихой, до дна души, гордостью и со слезами на глазах.

- Ты куда это собрался?
- На концерт, в филармонию.
- Что ж тебе дома-то не сидится, что ж ты всё в толпу, к люДЯм?!
- Ребята попросили фотографию с концерта.
- Чушь какая! К чему им там, в окопе, эта фотография?! И тебе зачем в людное место? Пересними откуда-нибудь и дело с концом!
- Как ты можешь? А ребята там что, не на передовой, а в выгребной яме у себя в огороде отсиживаются? Они там жизни свои... А я тоже – по-честному.
- Ну-ну... Честный ты наш. Ну, иди, раз так. Только не говори после.
- Будь покоен, Не скажу!

Дорогу из филармонии, всего-то двенадцать километров пёхом, освещал преувеличенный, как моя гордость, месяц. Сытная его краяха так и просилась в рот, и будь я повыше... Но сперва надо было добраться до дому и отправить ребятам своё фото в объятиях первой виолончели оркестра, милой дамы с натруженными руками и другое – рядом с дирижёром. Его фрак был похож на оперение скворца, но глаза... Дирижёр пенял на возраст и артрит. Впрочем, я успокоил его, сказал, что он нужнее здесь, чтобы было куда вернуться ребятам и послушать все его бемоли с дизами.

Так устроена жизнь. Кто-то на передовой, а иные, скрепя сердце, остаются в тылу. Это не стыдно. Это тоже часть работы. Работаем, братья! Под вой сирен.

Поздний ребёнок

– Поздний – это когда опоздали?

– Смотря куда. Всё относительно мой друг, абсолютно всё...

Автор

Они легли по обыкновению поздно, а ровно в 4 утра воздушный налёт без церемоний потряс их за плечо и приказал поскорее вставать «от греха подальше». И до 6 утра сидели они в тесном коридоре на табуреточках. Там одно маленькое окошко и то за углом, коридор гусеничкой. Сын после сказал, что если бы осколочный приземлился перед дверью, изрешетило бы осколками. Дверь железная, но дешёвая, жестянка.

Бомбили завод, к бетонной стене которого притулился некогда их двор. Желания посмотреть – что там, не возникало, но видимо, какие-то трубы взорвались и под большим давлением с диким рёвом из них что-то вылетало. Через этот рёв были слышны одиночные выстрелы и короткие очереди, сквозь которые еле пробивался визг сказочных персонажей, выдуманная сущность которых давно обрела зримые зловещие очертания⁴.

Сидя в простенке целого пока ещё дома на тесно составленных табуретах, они будто заново проживали свою жизнь. Молчали, но не каждый про своё, а про общее, которому едва минуло двадцать.

Когда они встретились, ему было хорошо за пятьдесят, убеждённый холостяк, гурман, она тоже уже была не первой свежести. Измученная претензиями бывшего мужа, который груз собственной несостоятельности ловко перекладывал на женские плечи, она добросовестно тянула лямку домашнего хозяйства, из десятка коров, семейства свиной и без счёту прочей более мелкой живности. Хлопоты за сим хотя и кормили, но не давало перевести дух, дабы вспомнить о том, что она от и до городская девчонка с дипломом самого настоящего университета прошлого века, а не скоморошного, века нынешнего.

Их свидание, сам того не ведая, устроил отец. Некогда отстранившись от участи в жизни дочери, своею безвременной кончиной он устроил её марьяж наилучшим образом, так как, опасливый и недоверчивый, оставил после себя не только квартиру, уставленную вещами, принесёнными с помойки, но крепкий кирпичный гараж, полный чемоданов советских рублей, потерявших ценность в одну ночь. Чемоданы, само собой, наследница с горестным вздохом по недалёкому из-за скарденности не вполне состоявшегося папеньки снесла туда же, куда отправила и мебель, а гаражу нашла нового владельца, который, впридачу к купленной недвижимости, получил и жену.

Дело сладилось на удивление быстро не по причине легкомыслия обоих, но – куда ж ещё тянуть, если тянет друг к другу.

Они встретились в пору, когда внешность, как бы ни была хороша, действительно не имеет значения. Он был полон мужской силы, что не в речах, а поступках, она, преисполненная той, истинной женской манкости, в которой умение не придавать значение мелочам сочетается с разборчивостью. И... Слепила судьба из тех двоих кусочков человеческого теста один ладный пирожок.

Поздних детей обычно балуют безмерно, но когда сквозь тугую почву родительской любви пробивается росток настоящего мужского х а р а к т е р а... Тут уж – пестуй не пестуй, скажется он в один день, и – ухожу, мол, мама-папа, на защиту Родины. Вас люблю без меры, благодарен за то, что родили и вырастили, кланяюсь низко, но поперёк вашей заботы восстану, отсидеться за вашими спинами не смогу. Не держите зла.

А родителям-то какво? Ничего больше не остаётся, как гордиться, на скорую руку стареть и плакать, слать с оказией собранные с любовью неподъёмные посылки, молиться и ждать сыночка от отпуска до Победы.

– Поздний – это когда опоздали?

– Смотря куда. Всё относительно мой друг, абсолютно всё...

Знаки судьбы

*– Пауки не едят божьих коровок, потому,
что они невкусные или потому, что красивые?*

– Потому, что умные!...

Автор

Дальнозоркая не к старости и не по осени, а от рождения, муха осмотрела округу, – всю, в общем, вообще, и порешила, что довольно мерила её взмахами крыл, довольно трудиться и пора бы уже передохнуть, а то не ровён час – передохнут все до единой её сотоварки, некому будет жужжать по весне, то и дело подводя ослабший за зиму завод полёта.

Не дожидаясь сумерек, темноты и не доводя себя до изнеможения и полной потери памяти⁷, муха направилась к окну дома, в котором её не прихлопнули вчерашней газетой, а выпустили через форточку со словами «Полетай ещё». Муха был туговата на ухо⁸, поэтому не расслышала всей фразы. Там было сказано чуть иначе: «Полетай мне ещё!» – чем, по сути попеняли, а прогнали, дабы не мараться к ней, ничтожной, сочувствием.

Но так-таки муха была доверчива, падка на сладкие речи и сладкое, а потому, облапав всю оконную раму по кругу и снизу доверху, она нашла-таки крохотную – не щёлочку даже, а едва ощутимую отстранённость рамы от оконного проёма, которая дала ей надежду проникнуть в гостеприимное жилище, где полно капель сладкого чаю на столах, припасено вкусных крошек без счёту и укромных, специально для неё устроенных уголков.

Муха натужно гудела с четверть часа, хлопоча подле рамы, столько же – на ней, но уже со стороны комнаты. Сперва она сокрушалась, недовольная обременительностью дороги а после – мягкостью приготовленного для неё гамака...

Не сразу сообразила муха, что не гамак то вовсе, а паутина. И перехватила удивлённый на себя взгляд божьей коровки, да поздно. Паук не первый год жил на этом свете и давно уж присмотрелся к беспорядку в хозяйстве, а потому – из расчёта подсобить и полакомиться, не ленился устраивать в этом месте окошка западню.

Из того, с чем не успела проститься муха в округе, оказались стрелка бабочки, поверх склонённой травы, что указывала в сторону леса и протянутые в мольбе ладошки клёна.

Ну да ладно, глядишь, какая друга муха не пропустит мимо знаков судьбы, коих повсюду куда как больше, нежели самих тех судеб.

Жабы

Оконное стекло покрывалось постными брызгами капель дождя, будто кипящим на сковороде маслом с самого обеда. Осень кашеварила нечто из собранной по сусекам низин и оврагов листвы, весьма питательное, но загодя лишшающее аппетита.

Редколесье охотно расставалось с ненужной уже, лишней листвой. Причитывая её, противу весенних настроений, к помехе, деревья спешили поскорее избавиться от бремени утраченной гибкости и свежести кроны, и прибегнув к помощи ветра, выходили из его объятий свежими, обновлёнными, холостыми.

Там и сям, обнаруживались нелепые в своей пышности эполеты опустевших гнёзд, залитые засахарившимся соком ссадины, заусеницы обломанных веток... Впрочем, – чудилось то или было в самом деле, деревца не шутя, с глупым, вздорным, напрасным по сути задором юности, кичились неприкрытыми ничем изъянами. В особенности – единичными листочками, обметёнными напоследок веником ветра с плеч ветвей, – так бабушка счищала чистой щёткой невидимые пылинки с кителя деда перед тем, как выйти ему на прогулку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.